SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Юрий Лощиц вспоминания о его друге юности Валерии Сергееве

-
- Мой друг от шестидесятых. 70-летию Валерия Сергеева

Мой друг от шестидесятых. 70-летию Валерия Сергеева

Шестидесятые… Оттепель… Шестидесятники….

Давно уже в нашем сознании эти слова приобрели свойство идеологических определителей, чуть ли не символов отдельно взятой эпохи. И хотя для эпохи одного, неполного к тому же, десятилетия по всем статьям маловато, событие всё же состоялось. Какая-никакая, а либерализация проистекла. Затеянная сверху, лично по воле Хрущёва, в узких рамках его борьбы с наследием Сталина, с последствиями «культа личности», она, понятно, не могла уместиться лишь в этих узких рамках. Вскоре после отмашки сверху началась и самая пёстрая самодеятельность, в состав которой чего лишь не вошло: и «фарца», и очереди у посольств, и заискивание перед заезжими «светилами» Запада.

Многие из людей, заставших ту пору уже в сознательном возрасте, и сегодня гордятся своим шестидесятничеством как порой осмысленного свободолюбия. Пусть не тотчас, но лет через пятнадцать-двадцать вынесло их, наконец, на гребень новой, несравненно более гулкой волны либерализации, и они расторопно овладели нужными плавсрествами, чтобы не оказаться в числе заживо подтопленных, как большинство населения СССР.

Ну, а могу ли я Валерия Николаевича Сергеева, стародавнего своего друга, замечательного исследователя древнерусского иконописания в кругу писателей и единственного в своём роде прозаика в стане искусствоведов, о котором собираюсь тут рассказать, отнести к поколению «шестидесятников»? На основании, что молодость его (и моя тоже) пришлась на то десятилетие, вроде бы вполне могу. Но мало ли кто в шестидесятые был молод. Для нас те годы, как и положено по естеству, остались порой юности, (но вовсе не в упаковке одноимённого журнала). Остались временем свойственных молодости дерзаний и, не постесняюсь гётевского определения, временем своего рода «прорыва и натиска». Но только в русской редакции.

Никакой смычки, никакого такого заигрывания с идеологией официальной либерализации мы за собой не числили. Потому хотя бы, что типичный «шестидесятник», по нашим понятиям, был всё же существом мелко плавающим. Он чаще всего не умел да и не хотел видеть историю России глубже 17-го года. А в том, что

слышал, всё подчинено было прямолинейной, совсем уж по Хрущёву, схеме: отрицание чёрного сталинизма и воспевание светлых заветов ленинизма. Нагляднейший пример – поэма А.Вознесенского «Лонжюмо». Или его же стихотворный клич, обращённый к начальству: «Уберите Ленина с денег!». Ну, чем не борьба за «чистоту идеи»?

С Валерием Сергеевым (он, как и я, учился на филфаке МГУ, но курсом моложе) мы познакомились ещё в свои студенческие годы, и, кажется, именно в 61-м, во время поездки на межвузовскую конференцию, посвящённую творчеству Лермонтова…

Ясные майские дни. За стёклами автобуса солнечным ливнем отлетают пейзажи серединной, потом южной России, а потом и предгорий Северного Кавказа. На коротких остановках покупаем какие-то сборнички местных поэтов, брошюрки, посвящённые великим писателям. Почти тут же зачитываются вслух ошеломительные афоризмы: «Жаль, не в ту пору родился великий классик…» (Это о Толстом). Весь автобус хохочет. «Писатель пустил две струи в русской литературе…» (Это о Достоевском). Снова хохот. «Поэзия – она, что вишня. Об этом даже спору нет»… И опять общий смех. А, может, не вишня, а груша или слива? Но кто же решится оспорить упорного патриота вишни?!

Конференция состоится в Орджоникидзе, но затем обещают показать нам (ура!) ещё и Военно-Грузинскую дорогу, и лермонтовский Тифлис.

Что ещё могло сближать нас так легко, как эта радость совместного бегства на волю – да ещё в канун весенней сессии?.. И Валера Сергеев с его, кажется, врождённым даром весёлости, душевной открытости, со щедрым разбегом его речи, то и дело подкрепляемой острым словцом, так легко входит в наш семинарский круг.

***

Года на четыре после университета мы с ним почти теряем друг друга из вида. Но первая же следующая встреча вдруг – без всяких клятв и взаимных обетов, – из добрых знакомых превращает нас в друзей – на многие десятилетия, вплоть до сего дня, когда пишу эти строки. Слава Богу за этот дар!

А было так. В летний послеполуденный час захожу во двор бывшего Андроникова монастыря. Недавно услышал, что Сергеев, отслужив в армии, стал сотрудником Музея древнерусской

живописи имени Андрея Рублёва. Размещается же музей именно здесь, в стенах старинной московской обители, где в XV столетии доживал свой век и был погребён величайший художник Древней Руси. Признаться, весть о Валерином трудоустройстве поначалу меня даже удивила. Ведь у нас на факультете не было искусствоведческой специализации. Но накануне, когда уславливались по телефону о встрече, я не стал выяснять, какая работа может найтись в таком музее для филолога.

Валера встречает меня в двухэтажном здании музейных фондов, у длинного дощатого стола, за которым сотрудники музея, по его словам, «трапезуют».

– Самовар у нас на улице. Пойдём-ка, взбодрим его.

Но прежде, чем свернуть за угол, в закут, где укрыт от глаз пожарников ведёрный самовар, он сводит меня вниз по старинной каменной лестнице – к подклетной стене церкви Архангела Михаила.

– Надо же тебе показать, где протопоп Аввакум на соломке спал, куда ему ангел щец приносил.

Щёлкает ключ, нехотя скрипит тяжёлая металлическая дверь. Электричества в подклете нет, но дневного света в дверном проёме достаточно, чтобы различить дуги невысокого сводчатого потолка. Пол кое-где присыпан охапками свежего сена.

– Помнишь ли ты, Лощиц, Житие Аввакумово? … Посадили меня на телегу, ростеня руки, и везли от патриархова двора до Андроньева монастыря. И тут на чепи кинули в темную палатку; ушла вся в землю. И сидел три дни, ни ел, ни пил… во тьме сидя, кланялся на чепи, не знаю – на восток, не знаю – на запад? Никто ко мне не приходил, токмо мыши и тараканы, и сверчки кричат, и блох довольно… во исходе третьих суток захотелося мне есть, после вечерни стал предо мною, не вем – человек, не вем – ангел… к лавке привел, посадил и лошку в руки дал, и хлебца немношко, и штец дал похлебать – зело прикусны, хороши! – и рекл мне: «Полно, довлеет ти ко укреплению. И не стало ево. Двери не отворялись, а ево не стало»… Вот так-то, Лощиц, а ты говоришь.

Я хотел было возразить: «А что ж я говорю-то?». Но промолчал.

Так было в тот день и дальше: говорил, показывал он, а я больше помалкивал, ошеломлённый всем увиденным-услышанным. После холодной «палатки», в которой томили страдальца за старую веру протопопа Аввакума, после чая с сушками, настоянного на каких-то душистых травках, привезенных из недавней экспедиции в тверскую, что ли, область, была ещё и главная музейная экспозиция в двухэтажных

«настоятельских» покоях: прекрасные иконы «московского письма», великолепно отреставрированные, источающие благовоние олиф образа – из закрытых храмов Дмитрова, других градов и весей ближнего или дальнего Подмосковья.

Очередная группа экскурсантов смещается в соседний зал, и Сергеев подводит меня, чуть придерживая за плечо, к большой иконе с ростовым изображением древнего воина.

– А вот и твой святой… Великомученик Георгий с житием.

Да, я уже знаю, что это мой святой и что имя его крестьянское по-русски означает «возделывающий землю». Но я-то сам тут сегодня – как земля нераспаханная. Да, иконы, и эта, и те, что уже увидел или ещё увижу, как-то по-особому притягивают к себе, волнуют. Но чем именно? Только ли необыкновенной чистотой, прозрачностью, яркостью красок, будто пронизанных изнутри светом? Нет, не только. Ещё сильнее, притягательней – таинственная сосредоточенность этих взглядов, обращённых в непостижимые для меня глубины жизни. А их руки, крепко держащие книгу или меч, или ларец с лекарствами, или просто простёртые в мольбе? Они все будто пришли к тебе с каким-то своим окончательным словом – о всём пройденном пути, о всём творении, о его смысле, правде. Это их слово – и для тебя тоже, если, конечно, захочешь, если сумеешь расслышать…

Да, я уже видел иконы – в Третьяковке, в Русском музее, где-то ещё. И в храмах действующих, в которые заходил не без опаски, видел их под тёмной олифой или под тяжёлыми металлическими окладами. Но всё как-то мельком видел, и даже стеснялся особенно всматриваться, – как во что-то вовсе не для меня, не для наших дней предназначенное.

А тут стоит рядом человек, которого я, оказывается, по-настоящему-то ещё и не знаю, и будто распахивает, рыхлит мне душу своей ненадменной, но твёрдой (раз пришёл, узнавай!) речью об иконе. Распахивает и тут же засевает какими-то старинными, из заповедных книг, словами-семенами: позёмы… оживки… вохрение… пробела… киноварь… ковчег… паволоки… прориси… левкашенье… шпоны… Впервые слышимые, эти слова будто сами пахнут – тёплой распаренной землёй, чем-то медовым, травным, корневым, древесным.

И ещё один словесный ряд или строй, но более строгий, что ли: иконостас… деисус… житийные клейма… прямая и обратная перспектива… Царские врата… праздничный чин… аналойный образ… алтарные, выносные образа… хоругви.

Да тут за каждым понятием – века и века осмысленного устроения жизни, и только ли храмовой!

Но вот ещё ряд, теперь именной: … Иосиф Волоцкий…

Кондаков… Барсуков… Муратов… Трубецкой… Флоренский… Олсуфьев… Дёмина… Богословы, виднейшие знатоки, тончайшие философы иконного искусства…

И когда видит Сергеев, что я уже с трудом выдерживаю этот его напор, мы оказываемся на зелёной отавке, у алтаря монастырского собора. Древнейший из сохранившихся московских храмов. Белокаменная кладка стен. Как приятно рукой притронуться к тёплой, шероховатой стене. На солнце она кажется ослепительной, и я щурюсь.

– Что, Лощиц, глаза устали? Это у тебя с непривычки… Один наш посетитель, оказалось, изучает воздействие цветов на сетчатку глаз. Зелёный цвет, говорит, понижает глазное давление…Так что ты, очи свои натрудив на иконах, смотри теперь, смотри на травку да на деревья.

Но мне неловко признаваться, что устал, и, кивнув на собор, спрашиваю:

– Значит, тут он и работал?

– Да. Но от фресок почти ничего не уцелело. Только фрагменты орнаментов в оконных проёмах. Собор сейчас закрыт, но если как-нибудь захочешь ещё прийти…

– Валера, ты что? Конечно, захочу… Тут у вас… как в другом совсем мире.

– Тогда пойдём ещё и фонды смотреть.

Миновав «трапезную», поднимаемся, – с разрешения главного хранителя по имени Вадим, длиннобородого, обликом похожего на молодого крепкого, зоркого монаха, – по лестнице, к большой, облистанной металлом двери.

Первое впечатление: сложные, будто слоями, лекарственные запахи. Они исходят от стоящих шеренгами в стеллажах тёмных иконных досок, высоких, иногда в рост человеческий или выше. Но за ними – стеллажи с иконами поменьше. Запах рыбьих или яичных клеевых составов, которыми пропитаны взбугрившиеся поверхности ветхих изображений. Запах старого, местами износившегося, даже источенного короедом дерева. Запах воска, скипидара, каких-то специальных мастик, которые предохраняют это дерево от разложения и тлена. Лицевая сторона многих икон почти полностью обклеена бинтами из тонкой папиросной бумаги. Будто попадаешь в госпитальный зал, где больные терпеливо дожидаются своей очереди на операционный, то есть реставрационный стол. А там – остро пахнущие химические растворители, томпоны, скальпели, шприцы для впрыскивания клея под вспухшие паволоки и левкасы.

Со слов Сергеева мне ясно, что такая больничная очередь может растянуться на годы. Реставраторов в музее всего

несколько человек. Народ опытный, но и труд ответственнейший, медленный, подчас изнурительно протяжённый. Сам он в круг этих избранных не входит. Его дело – экскурсии, поисковые экспедиции. Как правило, ездят вдвоём, (как апостолы, думаю про себя) реже – втроём. Чаще всего он ездит с Вадимом Кириченко. Куда? Да мало ли где по стране сиротствуют сельские храмы, заколоченные или используемые под хранение зерна, удобрений, склады техники. Если иконостас в храме не уцелел, если никаких находок не дают поиски на колокольне или в приделах, или беседы – чаще с пожилыми людьми, бывшими прихожанами, – идут дальше по округе. Но, к счастью, и находки пока не редкость. И особенно волнует самый первый осмотр уцелевшей доски, когда натренированный глаз поисковика по нескольким необманным свойствам её и самого изображения определяет: это древность, скорей всего, семнадцатый век, вторая его половина, но, возможно и конец, шестнадцатого. Очистка на месте ватными тампонами, пропитка клеем вздутий, шелушений, порезов, трещин, царапин, выбоин, крокелюр, иных ран и утрат, обклейка их «бинтами», упаковка в плотные листы бумаги. Иногда до ближайшей станции железной дороги от счастливого села приходится нести на себе иконы все тридцать, а то и пятьдесят километров. Сухожильный Вадим необыкновенно вынослив. Учится и он, Сергеев, не отставать.

Таково второе впечатление: воображаю себе звенящий комарами летний вечер, пустынный просёлок в лесах или облитых росой лугах и двух странников, согбенных под своими рюкзаками, и второй из них, плотный, хотя и предрасположенный к полноте Сергеев, жаркопышущим колобком катит по буграм за чернобородым своим другом-начальником. Тут-то и вспоминается мне Гёте с его «прорывом и натиском».

– Время такое, что ещё можно хоть что-то спасти для культуры, – говорит Сергеев, подводя к иконе, изуродованной топором или ещё чем-то острым. – Сколько раз так случалось: приходим на место, а там говорят: «Да где вы были? У нас только полмесяца, как церковь закрытую взломали, выволокли все образа, старинные книги, ризы на двор и спалили…» Ты разве не слышал, что Хрущёв затеял по всей стране облаву на церковь? Чтоб ни одного попа не осталось до коммунизьма.

– А знаешь, Валера, – говорю, стараясь сдержать волнение, – как бы и мне хотелось участвовать в какой-нибудь вашей экспедиции… Я бы мог и командировку взять от газеты, написать потом о вашем музее. И лишняя тягловая сила, глядишь, не помеха… А, Валера?

***

Впечатление третье. Уже ночное: ну, Сергеев! Какой же он молодец! Это же счастье – найти себе такую работу, за которую ни перед кем не стыдно… А что моя журналистика? Часто ли пишу о том, о чём хочу?.. И когда это он, Сергеев, и где успел взять свои головокружительные знания – об иконах, фресках, о древней нашей архитектуре? Да я рядом с ним просто болван болваном. Я ведь и «Житие Аввакума» помню кое-как, через пень-колоду… Нет, я не завидую, я просто им горжусь, Сергеевым, но мне при этом так стыдно!.. И так радостно одновременно. Иконы, что он мне показывал в экспозиции, и ночью сияют перед глазами. Георгий Победоносец – какой тонкий, светлый юношеский лик, с кипой кудрей надо лбом! А этот пышущий на его плечах киноварный плащ! А сверкающие голубыми лучами латы на груди!.. Стать длинноногого мощного витязя, мученика за свою веру! Я почти не запомнил житийных клейм, где его пытают, потому что в центре он стоит как Победитель, превозмогший все свои страдания… Спасибо, Сергеев, что был так щедр и всё это показал… А когда мы только вошли в зал, какая там красивая стояла молодая женщина-экскурсовод, в окружении умиленных посетителей, и будто не говорила, а пела им что-то об иконе Богоматери–Одигитрии, и сама своими тонкими иконописными чертами так чудесно походила на Богородицу, что в первый миг я подумал: не видение ли? А когда удостоверился, что не видение, то понял, что если когда и подойду к ней поближе, то онемею, как камень, не в силах выговорить ни слова…

Но ведь и тебя, Сергеев, я слушал, почти не проронив ни слова.

***

А месяца через два он звонит мне и спрашивает шутливо:

– Ну, что, Лощиц, в экспедицию не передумал ехать?

– Конечно, не передумал… А когда?

– А завтра. И всего на день. И совсем недалеко. Так что никакая командировка не понадобится… Встречаемся на Ярославском у касс. Обуй сапоги резиновые, если есть, а то, сам видишь, оттепель, а там дороги деревенские, расклякли.

В назначенный час садимся в электричку, идущую до Александрова. Но выйти нам надо гораздо раньше, сразу после

Пушкина. Кроме Сергеева от музея едет их новый сотрудник, Саша Салтыков. До этого я видел его лишь мельком. Высокий, худой, с узкой тёмной бородкой на утончённом лице. Держится несколько особняком. Может, потому, что, как шепчутся о нём музейные старожилы, Саша – из старинного дворянского рода, и происхождение обязывает его к холодноватой чинности в общении.

По дороге Валера негромко втолковывает мне цель поездки. В нескольких километрах от платформы «Правда» в селе Семёновском пустует старинный деревянный храм XVII века. Деревянных во всей стране наперечёт осталось. Но что ещё удивительней: внутри уцелело чуть не три десятка икон трёхсотлетней давности. Кто бы мог поверить, что совсем по соседству с Москвой – такое бесхозное сокровище. Уже дважды туда ездили из музея, тоже электричками. Выхлопотать грузовое такси – дело почти нереальное. Вот и не достало силёнок вывезти всё сразу. Нужно забрать ещё одну доску, самую массивную, тяжёлую, под рост Саши. Навесная дверь в жертвенник. Напоследок её оставили не только из-за тяжести. В отличие от остальных, она без ковчега, а это, вроде бы, признак более позднего времени. К тому же, лицевая поверхность – под плотной, чёрной, как сажа, олифой. Осталось ли там что? На месте не разберёшь. Но вывезти надо. Всё-таки ансамбль…

Я заранее смиряюсь с тем, что едем вроде бы лишь для очистки совести.

По Семёновскому от автобуса до церкви идти, точно, лучше в сапогах. В стылом храме сумеречно, зябко. Сиротливо смотрится опустелый каркас иконостаса. Сергеев качает головой, дивясь крепости бревенчатой конструкции сруба. Да, подумать только, церковь пережила Смуту, Наполеона, три революции, коллективизацию, напоследок даже Хрущёва с его обещанным для нашего поколения коммунизмом.

Хозяин избы, где оставлена на сохранение тяжеленная доска, уже обмотанная бумагой и перевязанная верёвками, недоверчиво качает головой: да войдёте ли с таким грузом в тесный автобус?.. И вдруг, махнув шапкой, вызывается доставить нас почти к платформе – на своих санях. Отбыв самым тихим, дремотным ходом за околицу Семёновского, мы, под безмолвие набрякших сыростью снегов и вкрадчивый шорох перелесков, будто вплываем в тот сокровенный век, когда церковь здешняя была совсем новенькой, пахла сосновой смолкой, и образа в её чреве лучились внутренним радостным и звонким светом… Наш возница сидит на передке на коленях, смолит свою самокрутку и, кажется, очень доволен тем, что и он сподобился спасать такие великие ценности

для самого важного в СССР, потому как Рублёвского музея.

На платформе нас троих закручивает водоворотом людей, вываливших из электрички, и тех, что проталкиваются в тамбур. Тяжёлый груз накреняется в руках. Чтобы как-то обезопасить дверь, упираюсь то спиной, топлечом в чьи-то тугие напористые туловища, срываюсь на крик:

– Мужики, вы что, ослепли?.. Дайте же внести, мать вашу…

Уже в тамбуре Салтыков негодующе шепчет мне в ухо:

– Юрий, как вам не стыдно! Не забывайте, что вы несёте.

Да, стыдно. Первый раз в экспедиции, и так оплошал. Саша отводит глаза в сторону, я – в другую. (Пройдёт лет десять, я, узнав, что Александр Салтыков недавно принял сан священника, подумаю про себя: простил ли он мне тот старый грех?).

А что Сергеев? Кажется, он не расслышал моей брани. Невозмутимая весёлость так и посверкивает из-под очков, будто заранее он знает: мы сегодня не зря ездили.

И действительно, как через день или два оказалось, вовсе не зря. Но об этом пусть лучше рассказывает сам он, Валерий Сергеев. Привожу отрывки из очерка, вошедшего в его книгу 1982 года «Дорогами старых мастеров»:

«Сразу же после привоза двери в музей была сделана первая реставрационная проба – расчищено сравнительно большое, приблизительно в квадратный дециметр, окошко, открывшее подлинную живопись. Рядом с почти чёрной олифой она буквально сверкала яркими цветами: белый как снег фон, чистые и звучные синие, мягко мерцающие сиреневато-охристые краски одежд… Было ясно, что это произведение недолго простоит в музейном запаснике и скоро привлечет к себе внимание реставраторов. Так оно и случилось: на следующий год его расчистку начала Ирина Евгеньевна Брягнна – замечательный мастер старшего поколения, потомственный реставратор, дочь одного из создателей отечественной реставрационной школы Евгения Ивановича Брягина (1882 –1943). Ирина Евгеньевна, как и всегда, работала над этой вещью неторопливо, вдумчиво, основательно. Всякий возникающий при работе вопрос ставила на обсуждение. Не один раз получал я приглашение заглянуть в ее мастерскую – маленькую, тесную комнатку здесь же, в одном из зданий Андроникова монастыря».

А чуть позже Сергеев, несмотря на жёсткий график очередных экспедиций, просто «зачастил», как он сам признаётся, к Ирине Евгеньевне. «Дело в том, что все изображения сопровождались подробными надписями – целыми литературными «комментариями», начертанными великолепным, мастерским почерком, так называемой торжественной скорописью. Это было

как раз «по моей части». Подобные надписи давно изучаются в нашей науке и известны под названием «изображенного слова». Это особого рода письменность и даже литература, воплощённая не пером на книжных страницах, а тонкой колонковой кистью на лицевой поверхности живописных произведений».

Да, это, как настаивает Сергеев, «по его части». Придя из филологии в мир практического (экскурсии, полевые поиски) искусствознания, он вовсе не намерен отказываться от врождённой филологу преклонения перед образным словом.

И однажды на реставрационном столе Брягиной он видит: «На только что открытом фрагменте живописи довольно распространенная в древнем искусстве библейская сцена: Адам и Ева, пригорюнившись, сидят на камне перед закрытыми для них райскими вратами. Первые люди, они изгнаны теперь из обители вечного блаженства на тяжкую земную жизнь, исполненную скорби и сурового труда. Изображения людей, которым впервые открылось земное страдание, очень выразительны. Но это показалось художнику недостаточным. Поэтому он пишет прямо над головами Адама и Евы полный текст песнопения «Плач Адама», известного у нас еще в XV веке и дошедшего в репертуаре народных певцов почти до нашего времени. Впервые этот «Плач» записал на книжных страницах знаменитый белозерский книжник Ефросин в 1470-х годах, а последняя его запись с живого голоса, текстовая и нотная, сделана учеными в 1934 году. В XVI – XVII веках эта песня неизменно входила в состав так называемых «покаянных на осьмь гласов».

Перечитываю и радуюсь за своего университетского однокашника! Это не просто филолог пишет. Перед вами трудится проницательный поисковик, разведчик редкостных исторических достоверностей, наделённый даром быстрой, как ртуть, интуиции. Будто в родной стихии, живёт он в сокровенном мире древнерусской иконологии, книжности, церковного и народного пения.

И чуть ниже: «…Ирина Евгеньевна еще выбирала острейшим «глазным» скальпелем остатки олифы вокруг последних букв «Плача Адама», а я в немалом волнении уже переписывал это знаменитое творение древнерусской поэзии. В изобразительном искусстве «Плач» встретился впервые».

Понадобились ещё месяцы и даже годы – до полной расчистки наддверной иконы с «изображённым словом» из Семёновского, до того, как в обширнейшем исследовательском материале, старом и недавнем, собранном то в одиночку, то в сотворчестве с даровитым музыковедом Татьяной Владышевской, Сергеев различит искомый код «поющей иконы». Затем будут

публикации в таких авторитетных изданиях, как «Труды отдела древнерусской литературы» (ТОДРЛ) и сборник «Древнерусское искусство XV–XVII веков». И, наконец, приглашение из Института мировой литературы выступить с докладом об открытии.

В старый особняк на улице Воровского (на Поварской) придут художники, музыканты, педагоги столичных вузов, реставраторы, историки, литературоведы. На экране вспыхнут изображения фрагментов иконы, зазвучат попеременно слова двух докладчиков, а затем и запись хора с «Плачем Адама».

Плакася Адам, пред раем седя,
Раю мой, раю, прекрасный мой раю!
Мене ради, раю, сотворен еси,
А Евы ради раю, затворен еси…

Вовсе не скажешь, что на ту пору (зима 1974 года) это было привычное для академической аудитории слушание и зрелище. И не назовёшь то событие по отношению к моему другу Валерию Сергееву первым и безусловным признанием. На словах, по лестным отзывам судя, по рукоплесканиям и восторженным оценкам, признание вроде бы имело место. Сергееву вскоре даже предложено было защищать по своей теме кандидатскую диссертацию в стенах института. И он, со свойственной решимостью и безоглядностью, принялся её писать. Но потом каким-то повеяло холодком от пригревшей его кафедры. Предполагаемый научный руководитель повёл себя опасливо-уклончиво. Сергеев слушал, слушал обтекаемые намёки на «несвоевременность», «непрофильность», «внешние веяния» и… однажды перестал звонить мастито-величавому доктору наук.

Так что вовсе не безусловным получилось в ИМЛИ признание. Да, по сути, и не первым по времени оно было.

Потому что первое, по-настоящему безусловное, имело место ещё в конце шестидесятых, в стенах его родного музея. Но этом – другой рассказ.

***

Начну с цитаты.

«В 1960–1980-е годы он (Музей им. Андрея Рублёва – Ю.Л.) смог стать небольшим, но заметным центром культурной жизни

Москвы, а его тематические экспозиции и выставки древнерусского искусства, как и проводимые им научные конференции, – подлинными событиями. Посещение музея люди сравнивали с глотком свежего воздуха. Экскурсии, проводимые в те годы для всех желающих по воскресеньям в одно и тоже время, собирали толпы, которые вытягивались при переходе в новый раздел экспозиции непрерывном потоком – от одного здания Андроникова монастыря к другому. Особенно талантливо и артистично их проводил В.Н. Сергеев. Приходили люди разных занятий и разного мировоззрения. Привлекало их многое: и сведения по русской истории, и формальная необычность древнего искусства, и его глубинное содержание, неведомое многим. Нередко в толпе посетителей оказывались священнослужители, которые с уважением отзывались об услышанном. В серьезности и ясности произносимых перед публикой слов сотрудники музея не шли ни на какие компромиссы и, как ни странно, воинственное атеистическое начальство стушевывалось и отступало. Бесспорно, в эти годы музеем воспитывалось и уважение к религии – и для многих, как позднее оказалось, это было началом пути к вере. Главная сила убеждения принадлежала, конечно, самой иконе».

Цитата – из большеформатного альбомно-монографического издания «Иконы XIII–XVI веков в собрании Музея имени Андрея Рублёва». Москва. Северный паломник. 2007» (в проекте «Древнерусская живопись в музеях России»).

Что замечательно в процитированном тексте? Во-первых, завидная скромность в самоопределениях. Музей «смог стать небольшим, но заметным центром культурной жизни Москвы». Конечно, в обстановке обозначенных десятилетий молодой музей и не смел «высовываться» паче иных центров культурной жизни, даже сопоставимого направления (Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств). Но автор тут же разворачивает картину, которой могли бы тогда позавидовать и эти и другие центры. «Глоток свежего воздуха», «толпы», вытягивающиеся «непрерывным потоком»… Что и кто за такими, согласитесь, сильно звучащими определениями «экскурсий»?

Как ни ряди, сам текст выводит к имени «В.Н.Сергеев».

Каждый посетитель каждого музея знает: экскурсия может длиться десять, ну, двадцать минут, ну, от силы полчаса. При самом «артистическом» исполнении своего многократно, изо дня в день, из месяца в месяц произносимого рассказа экскурсовод, который по роду занятий обязан быть отчасти и артистом, всё-таки не может, да и не обязан дольше определённого срока удерживать внимание быстро устающих зрителей-слушателей.

Да, Валерий Сергеев, как и другие рублёвцы, его товарищи и коллеги, неоднократно в те десятилетия выступал в роли экскурсовода. Но в данном-то случае вовсе не об экскурсиях шла речь. А о полновесных лекционных часах. На знаменитые своим монументализмом лекционные циклы Сергеева по изобразительному искусству Древней Руси, (по главным её иконописным школам), действительно, люди приходили толпами.

Не припомню, но, возможно, некоторые из его воскресных лекций начинались в «настоятельских покоях», а продолжались уже в другом экспозиционном помещении, которое музейщики, по прежней его функции, называли между собой «гаражом». И тогда можно было наблюдать, как эти толпы поспешают за ним от здания к зданию «непрерывным потоком». Мне же запомнилось, что Сергеевские лекции «от а до я» звучали именно в «гараже», в просторном зале, за большим, чуть не в полстены, окном которого открывался прекрасный вид на Спасский собор.

Теперь «гаража» нет. Его снесли, поскольку однажды высоких кураторов музея осенила мысль, что эта техническая постройка советского времени не вписывается в исторический ансамбль монастыря. Жалко лишь, что перед сносом они не позаботились о строительстве другого экспозиционного помещения, ещё более просторного. Такого, чтобы в нём можно было разместить старых «жильцов» – недавно отреставрированные иконы XVI-XVII веков, великолепные копии ферапонтовских фресок Дионисия работы Гусева – и добавлять сюда новые и новые музейные приобретения.

Но вернусь в «гараж»… Дело ближе к вечеру. В зале не слышно ни машин с площади Прямикова, ни поездов, идущих через Яузу то ли к Курскому вокзалу, то ли от него. Народ прибывает и прибывает с укутанного сугробами раздольного двора. Московские зимы всё ещё умеют в таких вот местах как бы переносить нас в стародавние времена, родные иконам и фрескам. На щеках слушателей – свежесть и румянец от бодрящего морозца. В улыбках – радость узнавания друзей, знакомых.

Все взволнованы предстоящим слушанием. Сегодня Сергеев открывает для собравшихся «Тверскую школу». «Открывает» – не преувеличение. Речь предстоит, как он пообещал накануне, едва ли не о главном направлении работы музея за целое десятилетие. Иконы «Тверского письма» – подлинное украшение музейной коллекции. Но это «письмо», почти неведомое миру. «Рублёвцы» – и Валерий Сергеев в числе трёх авторов – подготовили первый в стране полновесный монографический альбом о своеобычнейшем иконописном вкладе «Твери старой, Твери богатой» в

сокровищницу древнерусского искусства.

Пока народ занимает свободные стулья и скамьи, пока приносят откуда-то из подсобок добавочные лавки, Сергеев, чуть покашливая, щурясь, перепроверяет на лекторском своём столике последовательность слайдов, которые понадобятся для демонстрации на большом экране в затенённом углу зала. Передаёт комплект слайдов ассистенту, трогает стопу книг, необходимых для цитирования. Проделывает всё это так, будто в зале никого пока нет. Понимаю: ему нужно собраться, предельно сосредоточиться для трёхчасового монолога.

Мы ждём с нетерпением ещё и потому, что уже слышали от него вдохновенные лекции о Новгородской, Московской школах, о выдающихся памятниках изографов Псковской земли. В эти часы я с удивлением открывал для себя какие-то новые свойства души и дарований Валерия Сергеева. Одно дело – ты стоишь с ним в зале музея вдвоём, и он говорит о том или ином из любимых изображений почти тихо, почти по-домашнему, с мягкой доверительностью. И другое, – когда он остаётся один на один с переполненным залом, без микрофона.

***

Хорошо ещё – в «гараже» неплохая акустика, и народ сидит не шелохнувшись. Но с первых же его слов заметно: у него теперь другой совсем голос: твёрдый, неломкий, напряжённый до звона, как тетива. Каждое слово выверено, весомо, как самоцвет, вкладываемый в творимую на слуху и на виду у всех мозаику.

Ещё и потому он, догадываюсь, обходится без микрофона, чтобы руки были свободны. Он не выбрасывает их вовне. Он руками и пальцами больше собирает, притягивает к себе, удерживает, показывая тем самым, с каким напряжением Спаситель или апостол Павел истово и властно держат в руках Книгу, архангел Михаил – сферу, святитель Николай – храм, а мученица Параскева – крест. Руками своими подсказывает, как нужно «читать» жесты святых, столь красноречивые на иконе.

И «Великая Тверь» в эти часы необыкновенно для всех расцветает. Соперница Москвы в XIII– XIV веках, давшая Руси великих святых, мучеников за веру, волевых державоустроителей, противоборцев ордынскому игу, писателя-путешественника Афанасия с его мировым кругозором, Тверь в иконах своих собрала, по слову Сергеева, высокий, без признаков периферийности, стиль, намагниченный на византийскую

величавую строгость, на державный монументализм.

Да, художественное наследие средневековой Твери сохранилось для нас с большими утратами. Да, оно по объему уцелевшего, разысканного уступает и Новгороду, и тому же Пскову, не говоря о «Московской школе». Но по мощи своего вклада Тверь, убеждает он, представляя залу за иконой икону, никак не вторична. Она – равная среди равных. Её древние, по преимуществу безымянные мастера пережили великие творческие озарения. Они теперь очевидны и для нас…

Где ты, Сергеев, думаю я, слушая его, научился так «держать» свою разновозрастную, разноопытную аудиторию?.. Тебя ведь, затаив дыхание, слушают сейчас профессор Суриковского института, кинорежиссёр-документалист, художники, студенты-филологи, старая женщина, представительница знаменитого княжеского рода, начинающие искусствоведы, приехавшие к тебе на консультации из того же Новгорода, модный критик либерального толка, очень, видимо, озадаченный тем, что Москва слушает не одни лишь турниры пиитов и бардов в Лужниках. Внимают тебе и сотрудницы Института русского языка, пришедшие однажды с предложением записывать тебя на магнитофон, поскольку ты, по их убеждению, – великолепный носитель традиционной чисто московской речи… Ну, и как прикажешь не гордиться тобой, друг мой Сергеев?

Так и не знаю, записали тебя эти сотрудницы на свои профессиональные бабины или нет? Но в зале, сколько помню, никто не записывал. Не водилось ещё тогда малогабаритной высокочувствительной и общедоступной техники для аудиозаписи. А вне зала, к примеру, в студийной тесной комнатке, и ты вряд ли бы смог говорить с такой самоотдачей, с такой исповедальной прямотой убеждённого православного исследователя и писателя.

Да, писателя. Слово Валерия Сергеева, уже тогда, в пору его первых научных публикаций и лекционных циклов, было по сути и словом православного писателя, едва ли не самого первого в нашем поколении.

Он и тогда уже, чтобы дать роздых аудитории, подуставшей от напора высоких зрелищ и плотных комментариев к ним, мог позволить себе одно-другое-третье лирическое отступление. Как, например, такое, (цитируемое здесь по уже упомянутой книге Сергеева «Дорогами старых мастеров»):

« … в иных дальних местностях у людей старого поколения пеший люд вызывал как-то больше доверия, что ли… Пришлось нашей экспедиции добираться пешком из Красного Холма, старинного городка в северо-восточном углу тверских земель, в

дальнее село со странным названием — Шелдомеж, расположенное на самой границе с Ярославской областью. Стояли сухие, необыкновенно жаркие июльские дни. Местность открытая, безлесная, солнце палит нещадно. Еле-еле добрели по раскаленной пыли большака до сельской окраины, с наслаждением выкупались в пруду и, немного отдохнув, собравшись с силами и мыслями, смогли приступать к делам. А дело у нас было самое обычное. В сельской деревянной часовне издавна хранилась известная в этих местах икона — «Шелдомежская Богоматерь». Это произведение не было древним, но надо было осмотреть всё. Старая женщина, хранившая ключи от деревянной часовни, просто и без слов открыла тяжёлую дверь старинным кованым ключом, а на наш удивленный вопрос, почему она даже не взглянула на документы, ответила коротко: «Плохие люди к нам сюда пешком не придут...»

Или другое его воспоминание, касающееся самой первой, ещё в студенческую пору, встречи с древностями тверского края:

«Однажды осенью посчастливилось нам с университетским моим товарищем Володей Бобровым прожить несколько дней в Новгороде. Целыми днями, невзирая на холод, бродили мы от одной церкви к другой, наполненные первыми, незабываемыми впечатлениями от суровой красоты великого древнего города. И как смотрелось тогда, как чувствовалось! Должно быть, свежесть восприятия тому причиной... Осень была уже поздняя, сумрачная. Так и остался во мне навсегда образ осеннего Новгорода со свинцовой водой широкого Волхова и белыми церквами под низким серым небом. В Москву возвращались попутными машинами. Помню, как сладко дремалось под утро в теплой кабине ровно гудящего грузовика. Было ещё темно, падал снег, наверное, первый в том году. В снопе света от фар хорошо видно было, как крупные снежинки медленно опускаются на темную пожухлую траву обочин и мокрое чёрное полотно пустынного в ранний час шоссе.

Потом был рассвет, малиновое зарево вполнеба охватило чёрные, будто обугленные леса. Проехали Калинин, и где-то между Эммаусом и Городнёй, слева за Волгой на фоне тёмной стены леса на одно мгновение возник в отдалении древний белый храм. По тогдашним молодым и романтическим настроениям казалось, что стоит он в глухом, малодоступном месте, никому не ведомый, окружённый неразгаданными тайнами. И так захотелось добраться до него, разузнать историю тех мест.

По приезде в Москву я взял в университетской библиотеке на Моховой справочники и узнал, что видели мы сохранившийся собор Оршина монастыря и что построен он был в 1567 году. С

тех пор не раз намеревался съездить в эти места, но так и не собрался.

И вот теперь жарким летним утром идём мы туда по широкой, когда-то хорошо накатанной дороге. Теперь по ней мало уже кто ездит и ходит. Под ногами горячий песок, по сторонам старые сосны, гудящие от жары и шума ветра в вершинах. Густой, устоявшийся смолистый запах... Сбросить бы сейчас рюкзак, разуться, лечь на сухую тёплую землю и смотреть в далекую бездонную синеву, плыть и плыть вместе с землей, серебристыми травами, с этими вольно шумящими наверху соснами. Разбить бы здесь на несколько дней палатку, надышаться, насмотреться, погрузиться всем существом в эту счастливую, как детство, летнюю солнечную лесную жизнь. Кто мешает? Но мы здесь не на отдыхе. И у нас свой долг: идти, искать, спасать гибнущее».

… А на экране засияла золотистыми охрами ещё одна икона безымянного тверского мастера: Савватий Оршенский, пустынножитель. Вот уж, действительно, образ, о котором совершенно впопад сказано – «спасать гибнущее». Правда, на этот раз не сами рублёвцы спасали, потому что пришли, к великому своему огорчению, уже на место недавней лукавой покражи. А помогли спасти… таможенники. Во время пограничного досмотра обнаружили в чемодане заезжего бизнесмена небольшую икону в тяжёлом серебряном окладе. И позвонили в Рублёвский музей – как раз тем, кто уже отчаялся разыскать ценнейшую икону, пропавшую из крестьянского дома в окрестностях Оршина монастыря.

***

На лекциях о Ростово-Суздальской иконописной школе Валерий расскажет ещё об одном телефонном звонке в музей, прямо-таки чудесном своими последствиями. И получилось так, что эти лекции Сергеева для меня нежданным образом продлились уже не в помещении «гаража», а в полевых условиях его очередной экспедиции. Она пришлась не на дни летней поисковой страды, а на самую глубокую зиму. Услышав от Валеры приглашение участвовать в поездке, я, не мешкая, отправился в редакцию журнала «Вокруг света», где с недавних пор меня привечали как автора путевых очерков, и выпросил командировку на целую неделю. Потому что побывать предстояло за раз, ни много – ни мало, во Владимире на Клязьме, в Суздале, в Юрьеве-

Польском, в Ростове-Великом и в Переславле-Залесском. А напоследок ещё и в далёком от железных и шоссейных дорог селе с загадочным для меня названием Чернокулово.

Конечный смысл многоадресного маршрута уяснялся не вдруг. Упомянутый выше телефонный звонок в музей был от человека, который представился как художник-дизайнер. Юрий Михайлович Репин, так звали художника, приглашал Сергеева в свой подмосковный дом, обещая показать старую икону, происходящую из этого самого села Чернокулова. И не просто показать, но и без всякой корысти подарить музею, если рублёвцы найдут её достойной внимания.

Встреча вскоре состоялась, икона быстро перекочевала в музей, и первые же реставрационные пробы подтвердили уверенность Сергеева и его друзей: на столе лежит подлинный шедевр русской иконописи эпохи Дионисия – центральная работа из деисусной композиции, традиционно именуемая «Спас в силах». Ведь, по словами Репина, в пустующей деревянной церкви, сколько он помнит, висели на иконостасной преграде ещё несколько досок из того же деисусного чина. Значит, нужно срочно ехать в захолустное село! Вместе с Сергеевым в самую весеннюю распутицу отправились на север Юрьев-Польского района Вадим Кириченко и реставратор Кира Тихомирова. Ну, не чудо ли? В сиротском, прокисшем нелюдимостью пространстве чернокуловского храма Покрова Богородицы ждали своих изволителей от забвения ещё четыре иконы. Самый первый осмотр на месте подтвердил: тот же высокий ранг ростово-суздальского письма! Тот же мастер или, по крайней мере, мастера одной дружины!

Качество настоящего открытия иногда, к счастью, означается без проволочек. Едва попав после расчистки в зал Рублёвского музея, чернокуловские иконы были избраны для зарубежных выставок древнерусского искусства в Италии и Франции. Понятно, представлять их там рассчитывали не сами рублёвцы, а высокие министерские чины.

Валерий же Сергеев тем временем снова засобирался во владимирско-ярославские края? По сути, поиск, находка, музеефикация – иногда лишь полдела. Откуда всё же чернокуловские иконы родом? Ясно, писали их вовсе не в малом селе на берегу Нерли Клязьменской. Хотя бы потому, что этим образам уже под четыреста лет, а церкви, напоследок их приютившей, – двести, не более. Где же, в каком из окрестных городов работала дружина, для какого именно из более древних храмов? И какие сходства в манере письма, какие иного рода наводящие подсказки ожидают Сергеева в иконных экспозициях и

архивах сразу нескольких историко-краеведческих музеев? Мало ведь объявить: перед нами – письмо Ростово-Суздальской школы. Настоящего открытия нет без настоящего обоснования.

Нет, мне вовсе не показалось, что мой друг в ту неделю занимался скучным и нудным, словом, рутинным делом. Чуть ли не в первый же день поездки, бродя по залам Владимирского музея, мы вдруг увидели иконы из… Чернокулова!

Выходит, ещё до приезда рублёвцев экспедиция из Владимира побывала в «нашем» селе. Но почему же внимание гостей привлекли только три небольшие работы из верхнего, «праздничного чина» иконостаса? «Наверное, потому, – размышлял теперь вслух Сергеев, – что на деисусных иконах слишком грубо выпирала масляная краска. Ею, вместо темперы как ты уже знаешь, часто пользовались и в девятнадцатом, и в двадцатом веке разные ремесленники, обожавшие «академический» пошиб. Вот владимирцы, думаю, и порешили: деисусный ряд художественной ценности не представляет… А нас аляповатая поверхность не смутила. Само-то дерево-то старинное, шпоны добротные, пропорции досок отличные, древние. Не может, чтобы под слоем масла не скрывалась темпера. Что и подтвердилось!

Сергеев, вижу, доволен, как и всякий искусствовед, в чём-то упредивший своих не очень искушённых коллег. Вообще, приятно мне и в том же Владимире, и везде-везде, куда ни приедем, видеть эту исходящую от него тёплую обжитость: по залам музейным ходит по-хозяйски вразвалочку, старожилом, будто годами водил тут экскурсии. Но для меня-то – всё внове, всё – до лёгкого головокружения – впервой! Рублёвские фрески в Успенье над Клязьмой – впервые!.. Ростовская богатырская звонница – в первый раз!.. Белоснежный сугробище Георгиевского собора в Юрьеве-Польском, весь буйно оплетённый узорочьем рельефов – белыми же виноградными лозами, львиными гривами, туловищами, хвостами, – тоже впервой! А могучий серебряный щит Плещеева озера с высоты Горицкого холма! А цветастая ярмарка суздальских бессчётных, как во сне, пятиглавий, маковок, кокошников, изразцов, стен монастырских, башен, соборов!.. И всё это ты, Сергеев, мне открывал, потому что так устроена твоя щедрая, изобильная высокими радостями душа, что не хочешь, скучаешь ты любоваться дивными красотами Древней Руси в одиночку.

…Ещё и время «Золотого кольца» в СССР не началось, а для меня вся та краса благодаря тебе, мой друг, вдруг выступила из-за лесов и холмов, засияла в ту ясную, искристую, звенящую крепкими снежными настами пору. Любовались ли некрупными

мохнатыми лошадками на Юрьевском торгу, их гривками, густо запорошёнными инеем, или стояли на льду озёрном у легендарного Синего камня, вблизи полуруин Никитского монастыря под Переславлем, или шли, наконец, пустыным санным просёлком, по санным и копытным следам, в свете молодой луны, от железнодорожной станции к спящему где-то ещё за лесами и полями Чернокулову, – нигде, ни разу не оставляло чувство, что мы здесь свои, а не чужаки. Отовсюду веяло прибытком надёжной неколебимости – ото всех окоёмов сердцевинной нашей с тобой земли – Срединной Руси.

Шли и не догадывались пока, что судьба надолго свяжет нас самих и наших детей с этой Срединной, совсем не малой, родиной – с тем же Чернокуловом, с тихой Нерлью, с кряжистым прадревним Ростовом-Великим.

«… В навечерие праздника, когда догорал в морозном воздухе ранний зимний закат и розовый свет на снегах становился всё холодней и холодней и как-то совсем незаметно синел, из домов, оставя предпраздничные приготовления, выходили люди и смотрели на темнеющее небо, ожидая первой, рождественской звезды…

Наступала ночь Рождества, отступало время, и в празднике его преодоления по засыпанной снегами Руси – всякий человек, стар и млад, готовился стать участником встречи на земле рождающегося младенца. В этот вечер по сельским и городским улицам зачинались первые рождественские песни – колядки. Их пение в древности было распространено по всей Руси. От XVII века дошли первые записи северорусских колядок, но сами песнопения восходят к глубокой древности. Колядки воспевают прошлое так, как будто оно совершается сегодня, в эту ночь, а сами поющие – свидетели и участники события. Русские дети под лунным светом сочельника, поскрипывая морозным снегом по подоконьям, беседовали в колядках с пастухами, идущими поклониться новорожденному…».

Перечитываю сейчас страницы твоей книги о величайшем художнике России (Валерий Сергеев. «Рублев» М., ЖЗЛ, 1981) и думаю: а, может, и тогда уже, в дни нашего зимнего путешествия, откладывались в твоём сознании первые этюды и эскизы, первые композиционные узлы будущей биографии… Современное житие иконописца с иноческим именем Андрей… Но спроси я тебя тогда о таком вероятии, ты, скорей всего, удивился бы или даже рассердиться вслух по поводу самой чрезмерности предположения. Как и меня – спроси в те дни кто-нибудь: смогу ли однажды отважиться на книгу о великом князе Московском, герое Куликовской битвы, я бы, уж точно, опешил, обеими руками

отмахнулся. Что, мол, за неумная шутка?..

Но доподлинно знаю: без того бескорыстного духовного путеводительства по градам и весям Руси Срединной, которым так щедро одаривал меня в шестидесятые-семидесятые годы Валерий, без его поощрений моим первым попыткам погружений в глубины родной истории, откуда бы взялась дерзость у меня для книги о Дмитрии Донском.

***

Выход в свет сергеевского «Рублева», помню, становился для издательства «Молодая гвардия» событием своего рода рубежным. Пусть и «Бог», по привычке, ещё велено было печатать с маленькой буквы, пусть во время подготовки книги автору и редактору дважды пришлось сокращать количество иллюстраций (вместо трёх первоначально подготовленных шестнадцатистраничных фототетрадей в итоге, «чтобы не слишком раздражать недоброжелателей издательства…», уцелела одна), а всё равно общая радость была велика. Вот она, наконец, книга о художнике-христианине, в которой подлинный смысл его великих образов обозначен открыто, твёрдо, без лукавых умолчаний, без эстетской сосредоточенности на одних лишь «совершенных пропорциях» да «тонких цветовых рефлексах».

Когда раздались извне издательства первые громкие хвалы «Рублеву», начальство приободрилось и заключило с автором договор на работу о Дионисии, следующем по значению и времени великом художнике Древней Руси. Сергеев бодро и пылко принялся за новый труд для той же биографической серии, благо житейского материала о Дионисии сохранилось не в пример больше, чем о его гениальном предшественнике.

Но не зря гласит древнерусское присловье – «нет радости без печали». Будто с цепи сорвавшись, журнал «Наука и религия», верный заветам воинствующего атеизма, вдруг учинил (да ещё в трёх номерах подряд) подлинную расправу над книгой Сергеева. Сочинитель хлёстко-рыхлого словесного извержения, журналист по фамилии, кажется, Шамаро, узрел в ней неприкрытую идеологическую диверсию, покушение на устои «единственного верного» научного мировоззрения, идеализацию патриархальщины, «заигрывание с боженькой» и прочие порочные проступки. Получалось так: сам-то Рублёв – художник, конечно, достойный, но зачем же в наш век научно-технического

прогресса отдавать, как это сделали в ЖЗЛ, его непростое наследие в корыстные руки невежественных церковников?

Хотя никаких изъянов в научной аргументации книги журналист выловить так и не смог, но шуму-то поднял, шуму… Под эту сумятицу, во избежание ещё пущих укоризн откуда-нибудь сверху, издатели извещают Сергеева, что договор на его книгу о Дионисии вынуждены аннулировать.

Кто ж знал, что всего через шесть лет преподобный Андрей Рублёв будет, по случаю Тысячелетия Крещения Руси, торжественно причислен к лику святых. И что не самым последним обоснованием для такого определения канонизационной комиссии станет факт существования современной, научно и художественно достоверной биографической книги «Рублев» в серии ЖЗЛ.

Да, ободрённые таким разворотом событий, издатели ещё дважды переиздадут «Рублева». И предложат Сергееву вернуться к работе над книгой о Дионисии. Но что значит оборвать на полном ходу вызревание творческого замысла? Писатель же – не машина. И не поисковая собака, обязанная по команде застыть в позе египетского истукана. Даже незамысловатый механизм, на полном ходу заторможённый и надолго выключенный из рабочего обихода, нуждается затем в немалых дополнительных усилиях, чтобы взбодрить, «взогреть» его до нужного качества отдачи…

Вот когда Сергеев, по-моему, второй раз в жизни, сильно обиделся. Видывал и сам я, как, выслушав ласковые уговоры издателей, мой друг отвечал сдержанными, а то и шутливыми обещаниями довершить работу, да-да… во вновь назначенные сроки. Но такие уже поползли надо всеми нами двоящиеся, прелукавейшие времена, что по его нахохленному виду я догадывался: нет, он теперь не верит. Что-то в нём перегорело.

Притом что и в эти два последние десятилетия он не опускал рук, не предавался малодушному бездействию. В начале девяностых в должности главного редактора занялся выпуском православного литературно-исторического журнала «Златоуст». Увы, из-за прекращения обещанной денежной поддержки свет увидели всего два номера первого в постсоветской России «толстого» журнала для православных читателей. Но и через эту обиду перешагнул Сергеев с завидным самообладанием.

Чуть позже он организовал и творчески возглавил как педагог-идеолог иконописную мастерскую при московском храме Рождества Богородицы в Старом Симонове. Да и кому бы как не ему взяться за такое! Ещё в 80-е годы Сергеев, вместе с единомышленниками, приложил много стараний, писал статьи, выступал с лекциями в защиту этого древнего московского храма.

Ведь фундаменты его освящал когда-то преподобный Сергий Радонежский, и служили тут святитель Фёдор Ростовский и Кирилл Белозерский, и погребены под его сводами герои Куликовской битвы Александр Пересвет и Андрей Ослябя. В итоге храм был, после выселения из его стен компрессорной установки, отреставрирован, а потом и возвращён в число действующих.

Здесь-то под его началом и трудилась несколько лет над возведением трёх иконостасов (двух придельных, двухярусных, и центрального, пятиярусного), малая дружина художников, прошедших школу реставрации в Музее имени Андрея Рублёва. Силами этой же дружины позже украшались иконостасы церкви Новомучеников Российских в Бутове, церкви иконы Казанской Божией матери в селе Игуменка, что в Тверской губернии и, наконец, храма святого Андрея Стратилата в древнем селе Сулость под Ростовом Великим.

Не боясь преувеличения, могу сказать, что недавно завершённый иконостас в Сулости, пожалуй, красноречивее всего свидетельствует о даре Валерия Сергеева как теоретика, историка и ревнителя традиционного иконописного канона, составляющего приоритет русской иконологической мысли. Озирая это монументальное, устремлённое вверх и вширь произведение, радуешься согласному присутствию в его образах древности и новизны, каноничности и смелой свежести письма. В письме этом узнаются лучшие свойства Ростово-Суздальской иконописной школы, и в то же время не заметишь никаких приёмов ученического копирования, стилизации. Замысел явно полемичен и по отношению к повальному теперь золочению всего и вся – нимбов, полей, перегородок между ярусами. Простые горизонтальные тябла между рядами – с самыми скромными орнаментальными узорами – не мешают сосредоточить взгляд и чувства на главном – на ликах, на мощном всеобщем молении, встречном духовному порыву каждого, кто вступает под светлые своды.

И. любуясь этим звонким пением красок, этим светоносным плодом трудов моего друга и его дружины, я будто переношусь в тот давний день, когда он меня впервые приветил в стенах Рублёвского музея, и, мысленно поворачивась к нему, отвечаю, наконец:

– Вот так-то, Сергеев, а ты говоришь!

Март, 2010

Москва – Ростов Великий

**Подпись к фотографии:* *Сотрудники Музея имени Андрея Рублева, слева направо: реставраторы И.В. Ватагина и К.Г. Тихомирова, главный хранитель В.В. Кириченко, А.А. Салтыков, М.Д. Семиз и В.Н. Сергеев. 1970 г.*

Юрий Лощиц